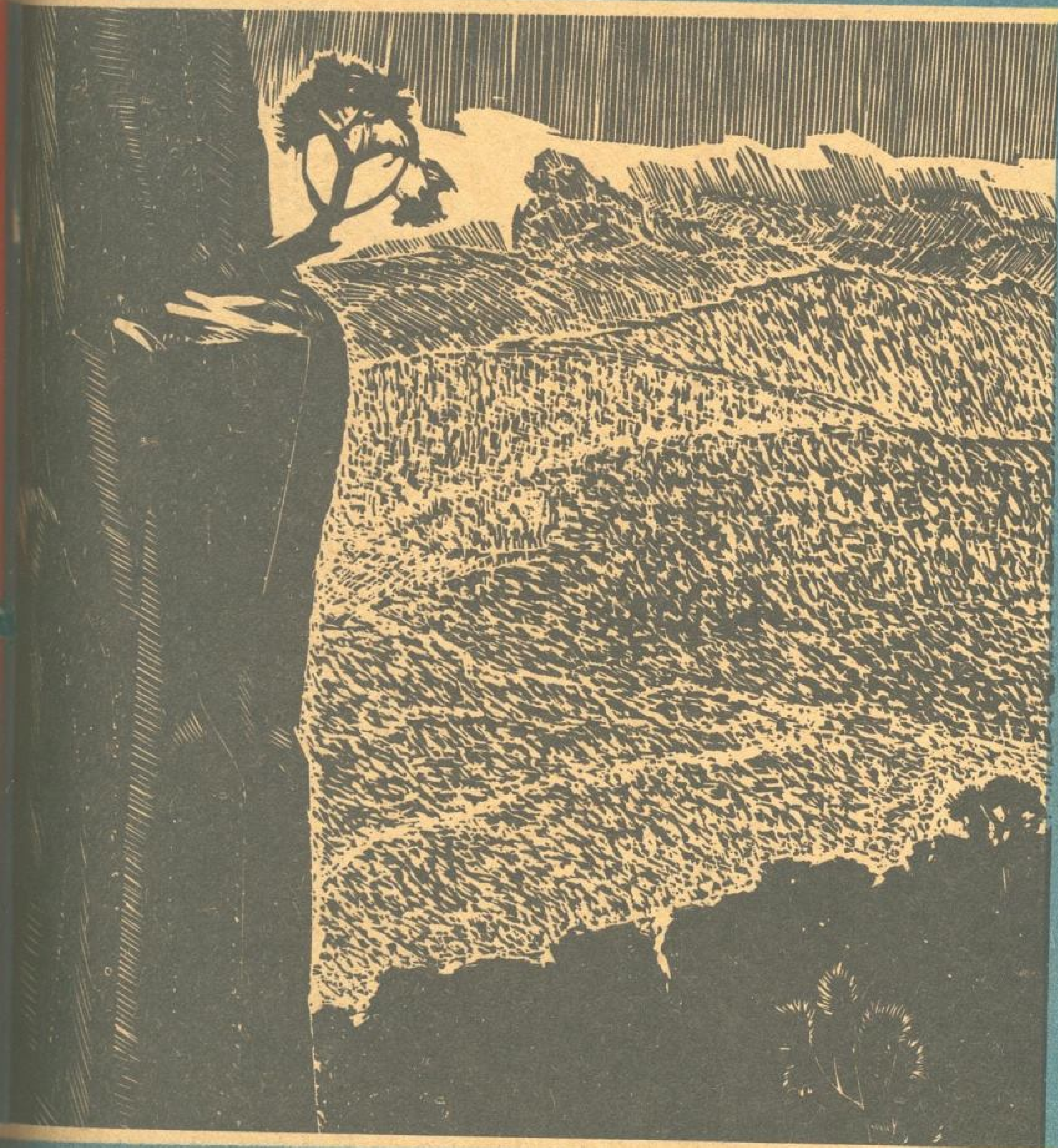




6

1977

EHUACET

Он не мог иначе

Еду в Хакасию. О ней у меня самое смутное представление. А ведь я бывал в Абакане. Давно уже, в сорок втором, военном, году. Мы, безусые юнцы, с месяц как надевшие военную форму бэу (новую в запасных полках не выдавали), приехали тогда на юг Красноярья получать для фронта лошадей. Маленькие полудикие монголки не внушали никакого доверия, почему-то думалось: не под силу им возить тяжелые пушки. На фронте же я убедился — под силу!

Абакан из той поры помнился разбросанным деревянным селением, одним концом своим упиравшимся в берег быстрой светлой реки — тоже Абакана. Помнился солдатский бивак на плоском пустыре среди уже поднявшейся кустистой пикульки около обширного плодового сада, усыпанного мелкими, как картофельные бабурки, малиновыми ранетками. Ночами мы совершали набег в этот сад, а после, у костра, жевали терпкие, сводящие скулы яблочки — чего уж греха таить, солдатского пайка нам не хватало.

И еще помнились маленькие, меньше футбольного мяча, какие-то ненастоящие, будто вылинявшие, бледно-зеленые, полосатые арбузы с желтыми недозревшими семечками в слегка розоватой кисло-сладкой арбузной мякоти.

Вот и все более или менее конкретное и смутное уже, как давнишний сон. Остальные сведения я вызнал из разных справочников и «Живой воды» Алексея Кожевникова. Хакасия виделась мне нескончаемой жаркой степью, и по ковыльным увалам ее пылили косяки монголоков.

На одной из станций купил я тогда небольшую бедно оформленную книжку «Поэты Хакасии». В вагоне наугад открыл ее.

Меня покупали,
Чтоб я боронил,
Меня продавали,
Чтоб копны возил.

Короткие беспощадные строчки властно овладели мной, и я уже не мог оторваться от них, я читал и становился живым участником бесчеловечного торга, и казалось, не подростка хакаса продавали в рабство богатею, а меня самого, и это моя старая мать торговалась,

Чтоб сына дороже.
На лето продать.

Это обо мне с горечью восклицал поэт:

О, черная доля
Батрацких детей!
Подростка для поля
Купил богатей.
Купил и доволен!
Но горестна мать:
Я слепну, я болен —
Ему наплевать...
Все это былое...

Это «былое» Хакасии заслонило собой идиллическую картинку с косяками монголоков в знойной степи...

Бывает, читаешь вроде бы умную книгу, все в ней разложено по полочкам, много умных слов напечатано на ее гладких страницах, а вот — по-ди ж ты! — не трогают они твоего сознания, воображения, никак не трогают они тебя и вскорости забываются, так и не пустив ростков в душу твою. Это же бесхитростное стихотворение Николая Доможакова сразу запомнилось и поведало мне о прошлом его родной земли куда зримее и веселее многого из прочитанного тогда мною о Хакасии.

Я читал и перечитывал стихотворение, и почему-то автор его представлялся мне рослым плечистым мудрецом в роскошной седине и внушительных роговых очках. Во вступительной же статье о нем сообщалось, что он из среднего поколения хакасских писателей, значит, всего лет на десять-пятнадцать старше меня. Я усомнился в этом, не мог вот так сразу, безоговорочно расстаться с созданным мною образом поэта.

В действительности же он оказался похожим... на самого себя.

Плотный, скорее толстый, ниже среднего роста; плечи узкие, округлые; безбородое толстошеекое лицо; короткие жесткие волосы, черные, в редких искринках седины. Никаких очков он, помнится, не носил, кажется, и не имел их совсем, хотя зрение было откровенно плохое; листок рукописи или книгу он обычно придвигал чуть ли не вплотную к глазам, читая про себя, шевелил нижней пухлой губой. Это позднее, когда зрение совсем ухудшится, он станет носить темные очки, чтоб оградить больные глаза от яркого света. Разговаривая, он заслонял рот маленькой и пухлой короткопалой рукой, словно стесняясь.

своего негромкого сиповатого голоса. Нет, внешне он никак не походил на поэта...

Николай Георгиевич не любил о себе распространяться, а если уж очень настойчиво досаждали ему расспросами, отвечал коротко и не ахти как вразумительно. А мог бы рассказать...

Ну, хотя бы о том, как ему, пятнадцатилетнему пастушонку, окончившему всего три класса (в их деревне была только начальная школа), несказанно повезло в жизни. Тогда он просто ошалел от радости, узнав, что его отправляют в Абаканский педтехникум, и не поверил сперва. Но это была правда. Его обули, одели за счет колхоза, и председатель на прощание велел хорошенько учиться, чтоб стать учителем. Видно, не зря его родной колхоз носил такое хорошее имя — «Чахсы хонных», что по-русски — «Счастливая жизнь»...

Или о том, как девятнадцатилетним парнем, нагруженный связками книг, приехал уже учителем в Усть-Чуль, большое хакасское село, теперь центр Тейского совхоза.

Он оказался прирожденным учителем. Дневал и ночевал в школе. И школа сразу ожила, зашевелилась, появилась художественная самодеятельность. Он сам играл на мандолине, пел хакасские и русские народные песни, сам сочинял стихи. В то время у него было уже опубликовано одно стихотворение в областной национальной газете «Хызыл аал».

— Николай Георгиевич был совсем еще молодой, а старики в Усть-Чули его уважали, потому как он грамотный, умный, обходительный, всегда советовался с ними, — рассказывала мне Анастасия Петровна Бытотова, одна из первых его учениц. — И еще он справедливый был, за нас, учеников, заступался. Помню, осенью, уже похолодало, начал он проверять, как мы к зиме готовились. У каждого в отдельности проверял одежду, обувь. У кого не было пальто или катанок — в книжечку записывал, а после к родителям ходил. Был у нас в Усть-Чули Афоня Таначаков. Его у нас колхозным сыном звали. Беспризорник, драчун, забияка. В школу день ходит, два не ходит. Вызвал Николай Георгиевич его к себе в учительскую: докладывай, как к зиме подготовился. А ему что докладывать? Босой, весь в рвань, и ничего больше — все на нем. Николай Георгиевич махнул ему рукой, мол, ступай, после поговорим, а сам в колхозную контору к председателю. О чем они там говорили — не знаю, но через два дня является Афоня в школу в новой одежде, сам чистый, постриженный. Не узнать Афоню. После он одним из лучших учеников стал. Взрослый уже, кадровым моряком был, с Николаем Георгиевичем все время переписывался, поздравительные открытки, телеграммы слал, уважал очень.

Так начинался нелегкий путь учителя, поэта, ученого...

Перелистываю выпущенную к шестидесятилетию поэта книжку избранных его стихов — «Чатхан» (Красноярск, 1976). Издательство любовно, со вкусом и уважением к юбиляру украсило ее отличными гравюрами Владимира Тодыкова, талантливого хакасского художника.

Пробегаю глазами знакомые строчки и как бы прослеживаю творческий и жизненный путь по-

эта. Критики называют его летописцем новой жизни хакасского народа. Что верно, то верно, поэт всегда откликался на все яркие события в жизни Хакасии, всей страны. И все это по зову сердца. Иначе он и не мог. Он всегда был в гуще жизни, он всегда был в числе глашатаев нового, передового. И не беда, если некоторые стихи сейчас звучат несколько риторично, а потому и несколько наивно. Без издержек тут не могло быть. Ведь он в числе первых начал осваивать новый для нарождающейся хакасской литературы жанр публицистической поэзии. А первым всегда трудней.

Еще в первый год самостоятельной работы учителем в Усть-Чули он написал свой первый учебник — грамматику хакасского языка. И это послужило началом его научной деятельности.

В жестокие годы Великой Отечественной войны аспирантом в Москве он участвует в обороне столицы и вместе с известным ученым-тюркологом Ф. Г. Исхаковым ведет огромную работу по организации в Абакане Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории и становится первым его директором. Одновременно ведет научную работу по исследованию родного языка и народного творчества, а после защиты кандидатской диссертации до конца дней своих преподает в Абаканском пединституте.

Став членом Союза писателей, кстати, тоже одним из первых в Хакасии, он создает Хакасскую писательскую организацию и руководит ею.

Главным же своим призванием на земле он считал литературу. Ей он отдавал все свое время, всего себя, заботился о развитии ее всечасно. Очень много переводил. Еще в Усть-Чули попробовал переложить на хакасский язык для художественной самодеятельности русскую народную песню «Всю-то я вселенную проехал». Получилось. С тех пор свыше двухсот текстов русских песен и песен братских народов перевел он на хакасский язык. Они составили три сборника. Песни в его переводах поет вся Хакасия. Помимо песен он переводил стихи Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Яна Райниса и других поэтов-классиков народов Советского Союза. Благодаря ему хакасские дети читают на родном языке «Руслана и Людмилу», «Бахчисарайский фонтан» и стихи А. С. Пушкина, «Конька-горбунка» П. Ершова, сказки К. Чуковского. Для национального драматического театра он безвозмездно перевел «Вассу Железнову» М. Горького. Я перечислил лишь очень немного, что вот так сразу вспомнилось, и, конечно же, далеко не все перечислил, перечислить все не смог бы, пожалуй, и сам поэт.

Одно время он работал директором Хакасского книжного издательства, а я был редактором. Помню, перед уходом в отпуск зашел к нему.

— Значит, отдыхать будешь? — отстраняясь от рукописи, спросил он. — Это хорошо. Отдыхать надо. — И будто вспомнил: — Ты вот что... Ты уже все свои рукописи в типографию сдал? Вот-вот... Отпуск кончится, а ты еще месяц гуляй, с содержанием. Да, да... Только с толком гуляй. Главное, пиши, пиши...

Тогда я начинал пробовать себя в литературе, напечатал несколько рассказов и очерков и почему-то именно с его стороны никак не ожидал

поддержки, мне казалось, он нисколько не интересовался, что и как я пишу. А на поверку вышло — внимательно следил за мной. Тот, добавочный, отпуск помог мне подготовиться к изданию книжку своих рассказов и очерков.

Как-то, уже в Красноярске, получил я от него коротенькое письмо и с ним стихи Светланы Янгуловой, тогда еще школьницы. Николай Георгиевич отыскал ее в одной из школ Абакана и тут же взял под свою опеку. Стихи Светланы были по-девушечьи наивны и подкупали именно этой наивной... талантливостью. Их напечатали в «Енисее». А он не оставил на полпути юную поэтессу, рекомендовал на краевой семинар молодых литераторов, помог ей дальше.

Пожалуй, редко кто из молодых хакасских писателей не почувствовал живейшего участия его в своей судьбе.

Теперь уж не помню в точности, или он пригласил меня в ту памятную поездку на таежную речку Тёю, или я сам напросился к нему в компанию, но была речка Тёя, был буйный костер на берегу ее, над костром висело ведро с булькающей ухой из только что выловленных хариусов, а над нами — роскошное звездное небо с неизменно ясным полумесяцем на склоне. А ночь была такая гулкая, что, если, забывшись, повысишь голос, услужливое эхо тотчас подхватит его и долго потом раскатывает меж лесистых отрогов Абаканского хребта по обеим сторонам речки. Чтоб не будить эхо, мы разговариваем негромко, почти шепотом. Лишь изредка кто-нибудь из нас нарочито озорно, по-мальчишески, крикнет, чтоб еще раз подивиться ночной гулкости.

Николай Георгиевич сучком подгребаёт огарыши хвороста в огонь, говорит своим всегдашним будничным голосом:

— Почему-то многие считают, что Хакасия — это степь. А ведь две трети ее территории занимают горы, тайга. И самые главные богатства в тайге, в горах прячутся. К примеру, Тёя. Места здесь ой какие глухие. Зато железом богатые. А железо-то, можно сказать, случайно открылось. Шел по тайге охотник-хакас Табастаев и вышел к верховьям Тёи. Видит: скала необычная какая-то — вся искрится. Рядом такие же камни валяются. Поднял один — тяжелый. Любопытно ему стало, что за камни такие. Сунул несколько штук в мешок, а после геологам показал. Те ахнули: железо! С той поры они всю Тёю обследовали, определили огромные запасы руды. А теперь рудник строится.

Я никак не могу сообразить, куда он клонит. О тейском железе известно каждому школьнику в Хакасии, о нем много писали в газетах, передавали по радио, я с весны еще, когда строители раскинули свои первые палатки, собирался съездить туда, своими глазами взглянуть на все, да пока не выкроил времени. А он говорит о давно всем известном, как о чем-то новом, говорит, а сам как бы прислушивается к собственному голосу, как бы рассуждает с самим собой:

— Надо ведь, шел по тайге и случайно железо нашёл. Случайно. — Он замолкает, думает о чем-то, потом вздыхает: — В нашем деле таких случайностей не бывает. Случайно роман не напишешь,

Мне кажется, я начал понимать его. Я знал, в тот год он уже работал над романом «В далеком аале» и, наверное, у него что-то не клеилось с ним. Вот он и силился выйти из кризиса, наверняка специально для этого придумал поездку на Тёю.

Может быть, это было бестактным с моей стороны, но я не думал о бестактности и спросил о романе, о том, почему он решил писать историю, ведь становление Советской власти в Хакасии уже история.

— Почему? Кто-то же должен написать о рождении теперешней, Советской Хакасии. Из молодых пока никто не решается. Приходится браться мне. Мне должно быть легче, у меня хоть ребячьи впечатления остались о том времени, так что дух тех лет еще жив во мне. — Добавил после паузы: — Жизнь надо писать с начала, а не с конца. А если короче: хочу понять сегодняшний день, а чтобы понять его, надо познать и понять прошлое. В этом непреложная истина жизни. Искусства — тоже.

Он опять замолкает, шурует сучком в костре — искры лисьим хвостом взлетают к небу, гаснут там и мелкими хлопьями пепла опускаются вокруг нас. Должно быть, он не видит их, сидит с безучастным лицом, потом в прищуре глаз его мелькает легкий свет улыбки.

— Есть у меня в романе русский кузнец, Федор Польшин. Я за него боялся: а что — как не получится? Может же такое быть? Мне хочется написать его настоящим, добрым, честным. Хочется написать дружбу двух народов — хакасов и русских. Без этой дружбы не может быть романа. Я иногда думаю: что бы случилось с нами, хакасами, если бы не русские? Не знаю, что случилось бы, не знаю. А Федор, кажется, получается. Зато хакас Сагдай никак не выходит — так что-то расплывчатое, хакас вообще, а не Сагдай. Странно и непонятно.

— Ничего, получится, — успокоил я.

— Дай-то бог. — И вдруг: — Никогда не думал, что так трудно писать роман.

Да, трудно. Трудней вдвойне, когда начинаешь первым, когда нет под руками образца, на который можно бы опереться.

И все-таки он справился с романом. Добился: ожили под его пером и русский кузнец Федор Польшин, и байский батрак хакас Сагдай, и все остальные герои.

Первый хакасский роман вышел в свет и, переведенный на русский язык, тиражом свыше двух миллионов экземпляров с триумфом прошеествовал по стране. Читатель безоговорочно принял его.

У Николая Георгиевича рождаются новые замыслы, они просятся на бумагу. А хворь все чаще, на целые месяцы укладывает на больничную койку...

Мы с женой сидим у него дома. Зашли попрощаться перед отъездом из Абакана, но Николай Георгиевич, узнав, что билетов на самолет у нас еще нет — надеемся купить в аэропорту, уговорил остаться. Мы сидим и вспоминаем прошлое, совместные поездки по Хакасии, говорим о литературе. Он нервно возбужден и говорит необычно много, будто торопится высказать наболевшее.

Я понимаю его. Позавчера в пединституте его провожали на пенсию, на «заслуженный отдых», как принято у нас говорить, и он до сих пор не может успокоиться, весь во власти случившегося. Еще бы! Такое бывает единственный раз в жизни. На проводы съехались друзья и бывшие ученики его — выпускники института, которому он отдал половину своей жизни, съехались со всех концов Хакасии, из Тувы и Красноярска. Много их было, друзей и учеников, и я искренне порадовался за старика. Впрочем, какой он старик? Ему только шестьдесят. Там, на проводах, у нас не было возможности поговорить вот так просто и доверительно.

За последние годы Николай Георгиевич сильно сдал, полнота исчезла, он выглядит подростком, пиджак на нем висит, просторный. Как-то непривычно видеть его таким. Он болен, очень болен, жалуется на подступившую слепоту, дышит тяжело, прерывисто.

— Сейчас бы писать да писать, а вот глаза не хотят служить. Совсем плохо вижу, совсем. Надо человека искать. Диктовать придется. — Он нутжно закашлялся; откашлявшись, виновато пояснил: — Легким в груди тесно, воздуха не хватает. Это из-за глаз все. С ними-то у меня с детства плохо. Начнешь читать или писать — грудью на стол давишь. Вот грудная клетка и ужалась. — И неожиданно спросил: — А ты что сейчас пишешь?

Я сказал, что заканчиваю небольшую повесть о природе.

Он одобрительно закивал:

— Это хорошо. — И добавил как заклинание: — Ты пиши, пиши...

Он умолкает и недвижно смотрит куда-то мимо меня. Я не вижу выражения глаз его, они скрыты темными стеклами очков. Их он уже не снимает. Я догадываюсь, что и в очках и без очков он одинаково не видит, наверно, различает лишь свет и смутные очертания предметов. О чем он думает в эту минуту?.. Как бы угадывая невысказанные мысли мои, он встрепенулся:

— Да, я тебе не говорил? Свердловская киностудия делает фильм по моему роману. На натурные съемки приедут сюда, в Хакасию. Дело?

— Конечно!

— Главное, чтоб фильм получился. Чтоб люди посмотрели и узнали, какая она, Хакасия...

Как всегда, не о себе печется этот безнадежно больной человек, о Хакасии боль не дает ему покоя...

Мне почему-то вспомнились полные душевного надрыва стихи его, явившиеся в горькие минуты отчаяния:

А в глазах — уже даль темна,
Дым сгущается в черноту.
Жизнь, что счастьем была полна,
Птицей рухнула на лету.

Безоглядно влюбленный в жизнь, поэт сам испугался своего отчаяния, испугался и удивился ему:

То ли боль — о закате дня —
Песню выплеснула не в срок,
То ли обдал сырой меня
Гнусной осени ветерок.

И нашел-таки силы в себе и мужество отринуться от непрошенной тяжести его:

Дай, прошу, сто сердец мне, жизнь,
Я работой, их нагружу.
Мозг мой, недра моей души —
В ноги Родине положу.

...Незадолго до кончины своей он позвонил мне из Абакана, поблагодарил за поздравление с праздником Октября и попросил, ежели возможно, поторопить кого следует с решением судьбы рукописи стихов одного молодого поэта из Хакасии.

Он не мог иначе...

